Культура. – 2006. – 2-15 нояб. – с. 5.

# Камень Даниила

## К столетию со дня рождения поэта Андреева

*Да, имя влияет на судьбу его носителя. Даниил – библейская фоника, даже не нуждающаяся в добавлении фамилии. "Нам остается только имя" (Мандельштам). Ушел супермассовый интерес к Даниилу Андрееву как легенде. Он остается сам по себе, самим собой, только именем, вне захлебывающихся фантазий со стороны – ему достаточно собственного мифотворчества.*

Он родился в Берлине, в семье феерически знаменитого писателя – Леонида Андреева, мать Даниила умерла от послеродовой горячки, другой фантастически знаменитый писатель – Максим Горький – стал его крестным отцом, он рос у родных людей в Москве, его родословие помечено именами Тараса Шевченко и (краеведческая гипотеза на Орловщине) Фета-Шеншина, и Тургенева, но печать сиротства и ни на кого непохожести отложилась на всей его жизни. Он был странным, не таким, как все, ощущал, подобно Николаю Гумилеву, среди пращуров – индийцев, да и внешне напоминал выходца оттуда, из Индии, в стихах поминая "таборы праотцев", "кочевые, рваные шатры": нечто цыганское. Он любил лесковского "Очарованного странника", сам был странником, запертым в сталинский острог за роман "Странники ночи", следом за ним взяли его жену и друзей. Роман погубили на Лубянке, каменный мешок Владимирского централа стал его рабочим кабинетом: на том камне произрастала "Роза Мира".

Его брат Вадим жил в Париже, они бурно переписывались, когда это можно было. Тоска по Европе лежит на его стихах сизым пеплом пожизненной мечты. Следуя за Достоевским, из своей темницы Даниил обращается к европейцам в сокрушении: "…Любой ваш город, храм, витраж / Любить в мечте до слез, до муки, / И так ни разу камень ваш / Не взять с дорог священных в руки!" Французские "Цветы зла" довели до суда Бодлера, Даниилу в тюремных ночах виделось иное: "цветок всемирного братства, Роза Мира, выпестованная вестниками – гениями – праведниками – пророками".

### Осколок великой культуры

И все-таки в нынешнем, относительно массовом, читательском сознании не совсем ясно отпечатано главное: Даниил Андреев – в первую голову поэт. Как ни дорожил он прежде всего своим духовным опытом, визионерство, вестничество, способ мышления, ядро андреевской метафизики – все у него порождено каменой, диктующей поэту и строки отвлеченной прозы. У Даниила и Бог – поэт: "Верховный Лирник".

Откуда он пришел? Его не ждали, но он сказал: "Я неизбежен, как рок…" Он оппонировал русскому декадансу начала XX века, но такая огромная культура, каковой была культура Серебряного века, не могла остаться без последствий. Поскольку эта эпоха была взорвана, а не умерла от старости, от нее остались не дети и не внуки, но осколки, обломки, фрагменты, куски etc. Но в том-то и дело, что Даниил Андреев, будучи осколком великой культуры, носил в себе ее живую кровь в самом прямом смысле, и в его частном случае она стала (если пользоваться его терминологией) *метакровью*, обретя свой духовный эквивалент. Но и в прямом смысле он был не один.

Достаточно назвать Льва Гумилева. Поэтические гены пронизали работу обоих. Лев Гумилев в науке был, в сущности, поэтом. Его книги об истории – тоже некий эпос, тоже мифотворчество, овеянное вихрями пиитического вдохновения. Заочно, не зная будущих трудов Гумилева-сына, Даниил волей-неволей полемизировал с ним в понимании Азии ("кровавые ханства" из "Сказания о Яросвете").

Он обращался к Николаю Гумилеву: "Да, одно лишь сокровище есть / У поэта и у человека – / Белой шпагой скрестить свою честь / С черным дулом бесчестного века". Это сказано в 1935-м. Через 15 лет, обращаясь к Художественному театру, он вызывает тень собственного отца чуть не той же цветовой метафорой: "Предчувствием пропасти души овеяв, / С кромешною явью мешая свой бред, / Здесь мертвенно-белым гротеском Андреев / На бархате черном чертил свое "нет".

Поэт-рыцарь, поэт-герой, странник вне времени, во времени и пространстве, жизнью оплативший свои прозрения, – такой тип поэта на самом высшем уровне, на уровне интонации, прямиком перешел в миропонимание Даниила Андреева из рук Николая Гумилева, и это было так же естественно, как присутствие в таком наследовании – Маяковского, поэта, исходно очень родственного Гумилеву не в чисто стиховом, но личностно-типологическом плане: оба – завоеватели: "Я конквистадор в панцире железном", "Я пол-отечества мог бы снести" и т.п. Особенность Даниила Андреева начинается тут: во-первых, он им обоим прощает гордыню, во-вторых, он переступает – во имя стиха и правды художества – через свое неприятие апашеского, люмпенского, прямолинейного революционаризма Маяковского.

Это тем более удивительно хотя бы потому, что обожаемого им Блока – "Бунт иссяк и утих. Но никто в многошумной России / Не шептал его стих с большей мукой, усладой, тоской, / Не любил его так за пророческий сон о Софии / И за двойственный знак, им прочтенный в пурге городской" – он безжалостно уличает в *падении*. Ни на минуту не забывая о "многих десятках стихотворений", принадлежащих "к числу ярчайших драгоценных камней русской поэзии", именно Блоку Андреев припоминает грехи относительно "низшей свободы", "внешнего слоя его жизни": богемного разгула, винопития, цыганщины, сладострастия и прочего упадочничества, Блоку, а не Маяковскому, некогда грозившему изнасиловать "самую юную" и плюнуть ей в душу. В Блоке он видел ангела, коему "есть откуда падать". Падшим ангелам прощать нельзя? Можно. Он простил. Как и "изнемогшего от созерцания химер" Гоголя. Недаром он ценил репинское "Самосожжение Гоголя", в отличие от многих профессиональных дегустаторов живописи.

На голом месте ничего не бывает. Не надо даже сильно вчитываться в стихи Даниила, чтобы обнаружить его пытливое ученичество у названных выше, а рядом с ними обнаружить и Брюсова, и Андрея Белого, и Сологуба, и Волошина (!), и Хлебникова, и даже Асеева, Сельвинского, Кирсанова или Василия Каменского. Не говоря уже о колоссах XVIII – XIX веков от Ломоносова до Тютчева.

Что такое *вестничество* по Даниилу? "Вестник – это тот, кто <…> дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющиеся из чужих миров".

Занеся Ломоносова в разряд поэтов-вестников, то есть придав ему ангелический статус (ангел есть вестник), отмечая в нем наряду с Державиным и Тютчевым "прорывы космического сознания", он все-таки полагал, что русская литература началась с державинской оды "Бог", а не, скажем, с ломоносовской "Хотинской оды", которую Ходасевич считал "первым криком жизни". Это важно. Даниил во главу поэтического угла ставил религиозное начало, это наследство символизма, с которым спорило поколение Ходасевича и прочих постсимволистов, включая самого Даниила. Но Даниил и Пушкина наделял мистическими свойствами сверх того, что у Пушкина было в действительности, – он прав, когда говорит о пушкинской мистической *интуиции*, это бесспорно, но еще более прав, говоря: "Лермонтов – мистик по существу", и уж совершенно прав, утверждая: "Великим духовидцем – вот кем был Владимир Соловьев". Но Соловьев свои духовидческие "Три свидания" подал в шутливой форме – Даниил в свою чисто поэтическую работу вносил элементы внепоэтические, относящиеся к его религиозно-философской системе, привлекая стих к деятельности другой, не менее достойной, но другой. "Кто и зачем громоздил во мне / Глыбами, как циклоп, / Замыслы, для которых тесна / Узкая жизнь певца?" Это создает дополнительные трудности в постижении его поэзии как таковой. Думаю, его трактат "Роза Мира" в глазах сугубых философов выглядит слишком поэзией, если не поэзией как таковой.

Его стихи – ежедневное освоение стиха. Он, самым внимательным образом читая современных ему советских поэтов, по стиху нередко занимал позиции, так сказать, левого фронта. Показательна рифма, звучащая и сейчас сверхмодерново: "не покаявшись – Апокалипсис". Его спондеи и консонансы, эксперименты в графике ритма, жанровые поиски поэмного характера (симфония, ораторий) – все это тяготело влево, но происходило на фундаменте классической просодии. Нелегко найденная, идущая сквозь безудержное словообилие, его поэтика – осознанная эклектика в архитектурном смысле. Истинный поэт, он не чудотворец стиха, стихи его носят след рукотворности, но фигура

*Д. Андреев. 1936 – 1937 гг.*

автогероя – чудесна: внутренняя свобода, тень мученичества и свет ума.

Не напечатав ни полслова стихов при жизни, он читал почти все и почти всех. То, что им было не прочитано, все равно перекликалось с его поиском. Разве ахматовский "Реквием" и даже "Поэма без героя" так уж далеко отстоят от "Ленинградского Апокалипсиса"? Стихотворения Юрия Живаго, особенно "Август", – по стиху – то же символическо-акмеистическое наследство, которым распоряжался Даниил. Разница в духовно-философском векторе. Над различительными частностями доминирует общее – поэзия свидетельствует о неубитости России и ее культуры.

### Исключительность – в антисоветскости

Речь о парадоксальной включенности непечатающегося Даниила Андреева в контекст современной ему русской поэзии. Его исключительность – в совершенно непримиримой антисоветскости, рядом с которой Мандельштам или Пастернак – чуть не конформисты, грубо говоря. Но и это объяснимо – он был на 15 – 16 лет моложе того и другого, это – другое поколение русской интеллигенции, оно не прошло досоветских соблазнов революцией, доставшихся старой интеллигенции. Однако самой Революции, именно так, с большой буквы, вслед за Блоком он не отвергал, называл ее "великой", большевиков вписывал в стихию русской судьбы: "Этот свищущий ветр метельный, / Этот брызжущий хмель веков / В нашей горечи беспредельной / И в безумствах большевиков", ему претила не Революция, но ее обездуховленное наследство, возникновение "винтиков".

Его "лениниана" ("У гробницы", "Монумент") ошеломляет: как такое могло быть написано на территории СССР? Какой безумец, кроме него самого, мог написать "К открытию памятника" – о памятнике Горькому и о нем самом: "Все видел. Все понял. Все ведал. / Не знал? обманулся?.. Не верь: / За сладость учительства предал / И продал свой дар…"? Повторяю, М. Горький – его крестный отец, но в стихах своих Даниил не раз говорит совсем о другом: о своем *богосыновстве*. "Там, над сменой моих новоселий, / Над рожденьями форм надстоя, / Пребывает и блещет доселе / Мое богосыновнее Я; // И мое – и твое – и любого, / Чья душа – только малый ковчег; / Всех, чью суть оторочило слово / Ослепительное: человек", – как видим, богосыновством он делится с "любым", со всеми. К слову, в осознании человека он в каком-то смысле смыкается с ранним Горьким, автором поэмы "Человек", ницшеанской по истоку.

Между прочим, просьбу "усынови!" он обращает – к Пушкину. Пушкина же он именует так: "Москвы священный камень".

Усматривая в "сладости учительства" гордыню, предательство и продажу дара, сам-то он был как раз образцовым продолжателем учительной миссии отечественной литературы. Нет тут никакой пресловутой противоречивости. Поэт, думая о других, сражается с собой. Он знал, что он – дидактик.

Во время войны он служил в похоронной команде. Последующее санитарство – тоже оттуда, из онтологии его предназначения. В начале войны он пишет "Беженцы", с мучительным финалом: "Шевельнулись затхлые губернии, / Заметались города в тылу, / В уцелевших храмах за вечернями / Плачут ниц на стершемся полу: / О погибших в битвах за Восток, / Об ушедших в дальние снега / И о том, что родина-острог / Отмыкается рукой врага". Освободительная функция захватчика – фикция.

Позже, в "Ленинградском Апокалипсисе" возникло соборное, общенародное "мы". Разительная самополемика в сравнении, например, с более ранней "Симфонией городского дня", этой отповедью тупой стадности, выполненной средствами соцреалистического стиха: это был первый самый натуральный соцарт. В "Ленинградском Апокалипсисе" определены мера и суть его метафики: "Быть может, в старину раскольникам / Знаком был тот нездешний ужас, / В виденьях ада обнаружась / И жизнь пожаром осветя. / Блажен, кто не бывал невольником / Метафизического страха! / Он может мнить, что пытка, плаха – / Предел всех мук. Дитя, дитя!" Нет, он не презирает земных ("детских") страданий человека, но есть страх метафизический, многовселенский, тот, который на земле именуют Божьим. При всем при том он называл свой поэтический метод так: *сквозящий реализм*. Это – "отношение художника к общеочевидной действительности, как к просвечивающему слою".

Может быть, после Пушкина, Фета и Пастернака Даниил Андреев – самый светлый в череде русских поэтов. Сквозь тюремные стены он говорит: "Дни скорбей и труда – эти грузные, косные годы / Рухнут вниз, как обвал, – уже вольные дали видны, – / Никогда, никогда не впивал я столь дивной свободы, / Никогда не вдыхал всею грудью такой глубины!" (1950 – 1956). По метру и ритму это отзвук того же Пастернака, "Девятьсот пятый год", а еще точнее – Дмитрий Кедрин, "Зодчие", написанные под пастернаковским влиянием, на которые у Даниила есть прямая аллюзия: "Нет, не зодчим, дворцы создающим под солнцем и ветром, / Купола и венцы возводя в голубой окоем – / В недрах руской тюрьмы я тружусь над таинственным метром / До рассветной каймы в тусклооком окошке моем". Кедринский "Конь" тоже наверняка был известен ему.

Зодчий Федор Конь выстроил Кремль земной, тот, который Даниил видел ребенком, где "в неприступном лоне каменном / Свершалась тяжкая работа", но сквозь его "просвечивающий слой" прозрел Кремль иной, Небесный: "И новым цветом камни прорастут". Он видит "улыбку камня". Глядя на "пеструю небылицу" храма Василия Блаженного, Даниил свидетельствует: "…зодчими угадана / Тьма народного пути". Разрушение храма Христа Спасителя запечатлено с кинематографической точностью: "О да, я знал: над скорбной родиной / Еще не раз промчится буря, / И белый старец в амбразуре / Обломком камня рухнет в прах…"

Ахматова объявила: "Мне ни к чему одические рати / И прелесть элегических затей. / По мне, в стихах все быть должно некстати, / Не так, как у людей" – и написала немало элегического, да и одического. Даниил Андреев по природе своей поэт одического – торжественно-возвышенного – склада. "Так пестроту глаголов ода / Объединяет в мерный стих". Между тем и разговорная речь там и сям звучит у него естественно и убедительно: "Не заговорщик я, не бандит, – / Я вестник другого дня. / А тех, кто сегодняшнему кадит, – / Достаточно без меня".

### Метаистория

Времена текут, все меняется, четче обозначается вес той или иной литературной фигуры. Где вчерашние метаметафористы? Их нет как литературного течения – да и было ли оно? *Метаистория* Даниила – прежде всего как текст – существует. Текст, все еще не усвоенный (мною тоже, за недостатком "религиозного слуха"). Но как разнятся времена! Нравственный максимализм русских поэтов обрел в Даниле свой высший, аскетический предел. Когда я юношей слушал "Поэму экстаза" Скрябина, мне и в голову не приходило ничего поверх и помимо музыки и стихов: "О, куда мне бежать от шагов моего божества!" из пастернаковского "Девятьсот пятого года". Андреев же припечатывает: скрябинская поэма – "панорама космического совокупления".

Кроме многого другого, он создал *поэтический ансамбль* "Русские боги". 17 глав (из двадцати задуманных), стихотворения, циклы, поэтические симфонии, поэмы в стихах и в прозе. (Большинство стихотворных цитат в этих заметках – оттуда.) В предисловии к "Русским богам" он говорит о том, что все части этого ансамбля – "звенья неразрывной цепи; они требуют столь же последовательного чтения, как роман или эпопея". Это относится к его творчеству вообще, как, впрочем, и ко всякому творчеству. Его стихи и проза взаимокомментируемы и нередко, может статься, не целиком самодостаточны по отдельности. Впрочем, лирика любви и пейзажа существует вполне автономно, как и многие вещи на темы земной истории.

### Посмертное явление

Не первый год на Брянщине происходят Андреевские чтения, "виновник" которых – тамошний энтузиаст Е.В. Потупов. Там в свое время любил бывать Даниил, там он ходил по лесам, сближался с природой и ее детьми, старинный Трубчевск стал его особой привязанностью. Теперь ежегодно туда приезжают московские литераторы, в разных составах, и неизменно – поэт Борис Романов. Может быть, больше всех для посмертного явления Даниила – вслед за его вдовой и совместно с ней – сделал он, Борис Романов: от первой представительной книги Андреева, которую он редактировал и комментировал ("Русские боги", 1989, изд. "Современник"), до нынешнего, готового к выходу в свет, полному собранию сочинений (изд. "Русский путь"). Кроме того, только что легла на прилавки его книга "Путешествие с Даниилом Андреевым" (изд. "Прогресс-Плеяда"). Это собственноручный памятник Даниилу, эссеистика плюс исследования, лирический рассказ – со своими стихами – о тех местах на Брянщине, что связаны с андреевским "босикомохождением" (словцо Даниила), о круге людей, так или иначе пересекавшихся с Андреевым, разговор о вписанности Даниила в традицию русской духовной поэзии и о многом другом. Подобных книг о Даниле не было и вряд ли будет: двадцать лет Романов отдал своему герою. Вот интонация книги: "Мне не был Даниил Андреев очень близок как поэт, пока я невольно не сроднился с его стихами. Я совсем не мистик и лишь удивляюсь таинственному духовидческому дару". В книге масса метких мыслей, подобных этой: "Разница между поэтами принципиальная: Тютчев – мистический лирик, Даниил Андреев – мистический эпик".

Того Даниила, ветхозаветного праведника, мученика и пророка, обласкивали цари (Навуходоносор, Дарий), даже карая. Отнюдь не приближенный к трону, Даниил Леонидович Андреев отсидел 10 лет, его жена Алла Александровна – почти столько же. Царской ласки не воспоследовало.

Мне выпало знать А.А., ездить в ее обществе. Для достоверности тех ощущений позволю себе привести свою дневниковую запись (2004, апрель): "Брянщина объехана. Брянск, Овстуг, Унеча, Новозыбков. Весна, поля, леса, Десна, солнце, ветер. Несколько выступлений и застолий. Крупнейшее впечатление – Алла Александровна Андреева, вдовица. Нечто неправдоподобное. Лицо Гете в старости. Или Данте. 45 минут ее чтения со сцены поэмы "Немереча" наизусть. Память, здравость суждений, охота к разговору, к людям, к водочке-винцу с лакировкой пивком, стройность, легкость во всем теле, которого, впрочем, нет. Слепа, с бельмом на правом глазу. Крупные руки в синих венах. Ее сопровождали две гуслярши лет осьмнадцати – обе Елены, беленькие, гладкие, – плюс певица (народные песни) Катя, крохотная и востроносая. Ну и мы – Романов, Шенталинский, Потупов (хозяин той землицы). По возвращении в Москву я из такси донес ее чемодан до лифта в доме на Брюсовом переулке".

Поэма "Немереча" – о лесном пожаре, и ее чтение само по себе было страшным пророчеством: вскоре (2005, опять апрель) она погибла при пожаре, у себя дома. Ей было девяносто.

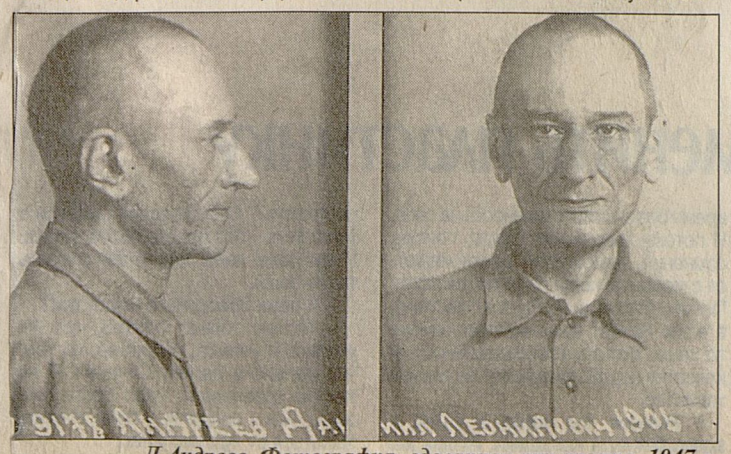
Библейский Даниил был брошен в львиный ров за верность своему Богу, который его спас, прислав ангела. В пасхальном Новозыбкове, в храме, А.А. погрузила ладонь в благодатный огонь, привезенный из Иерусалима, долго держала ее там, чудом не обожглась, а когда мы дожидались поезда на Москву, над железнодорожным грохотом, казалось, прозвучал голос Даниила: "Если нужно – под поезд / Ты рванешься, как ангел, за ним; / Ты умрешь, успокоясь, / Когда буду читаем и чтим".

Профессиональная художница, она и сама – помимо статей и предисловий – написала книгу, бесспорно художественную, озаренную молниями молодости, книгу ее жизни и любви двух высоких людей, любви, пронесенной сквозь узилища и грубое неустройство послезастеночной поры. Две неповторимые личности свела русская судьба в браке, заключенном поистине на небесах, – сюжет редкостный. Книга называлась "Плаванье к Небесной России".

Навуходоносору приснилось: камень, отколовшись от горы, разбил колоссального металлического истукана на глиняных ногах. Даниил разгадал сон царя относительно истукана. Но что значил тот камень? Загадка. "Столетье за столетьем пронеслося: / Никто еще не разрешил вопроса!" (Тютчев). В Трубчевске очень давно под Соборной горой, в пещерке на берегу Десны, некоторое время жил святой Нил Столбенский. Он приплыл туда на челне, а уплыл на камне, осерчав на праздное любопытство к себе обывателей. В глубину уединения, прочь от публики.

Ушел супермассовый интерес к Даниилу как легенде. Недавно в ЦДРИ был вечер его памяти, из зала спросили: почему вы (то есть выступающие) говорите только о стихах, забывая о его философии? Это не так. Его творчество едино. Оно все – поэзия. Но – "не так, как у людей".

На своем камне.




*Д.Андреев. Фотография, сделанная при аресте. 1947 г.*

Илья ФАЛИКОВ